

ПРИЛОЖЕНИЕ

Г.Н. Трубецкой

Облики прошлого

Брат Сережа

Переезд в Москву совпал с большим событием в нашей семье. Мой старший брат Сережа стал женихом Паши Оболенской.

Брат Сережа занимал совсем особое положение в семье. Мама могла уверять себя и других, что у нее нет любимцев, что для нее все дети равны, но, конечно, ее первенец, ее Сережа был для нее совсем особое отдельное существо, и его она любила так, как никого не могла любить. И я уже говорил, нам казалось это совершенно справедливым и естественным. Сережа был тоже наш общий любимец и существо высшего порядка.

Что было в нем в эту пору детства, юности и молодости особенно привлекательно и что впрочем осталось у него до конца – это необыкновенно живая чуткая отзывчивая на все и любящая душа. Его душа и ум были всегда открыты на все, и никогда не затемнялись какими-нибудь предубеждениями и предрассудками. По своей природе, но вернее по складу, он во всем и в каждом видел всегда то положительное, что в нем было, движущую им искру Божию. При этом сам он сохранил полную трезвость души и суждения. Ему чужда была всякая сентиментальность. Душа глубоко целомудренная, он таил в себе святая святых и свои чувства не расточал на ветер, не потому, что он был себе на уме – этого совсем не было, так же как не было скрытности, – а именно из целомудрия. И так как он весь искрился талантом и остроумием, то он часто примешивал самые смешные шутки к тому, что для него было всего дороже. Он мог покоробить хорошего, но неповоротливого мозгами человека. Вместе с тем, какое нежное прикосновение было у него к чужой душе! Никто не мог подойти так легко, так деликатно, с таким сердечным участием и простотой к чужому горю, мучительным сомнениям, разочарованию. А сам он, когда ему бывало всего тяжелее на душе, тут-то и становился наружно как будто всего веселее, всего остроумнее, заражал всех этим блеском и веселостью. В нашей семье была вообще большая

чуткость ко всему показному и не настоящему. Малейшая попытка кого-нибудь из нас порисоваться, принять позу немилосердно осмеивалось и пресекалось в корне. С той же, быть может, превеличенной чуткостью подмечались у посторонних все казавшиеся нам смешными и неестественными повадки, манера говорить и держать себя, и мы их передразнивали, в чем особое мастерство обнаруживала Ольга. Это имело свои отрицательные стороны, ибо порою обижало людей, которые могли перехватить насмешливые взгляды, а кроме того в нас самих порою развивало ложный стыд и самолюбие. Во мне лично до известного возраста эта черта выработала большую скрытность. Настоящее движение сердца пряталось из страха, что покажется сентиментальным. Но в общем такая постоянная семейная самокритика имела много хорошего, ибо делала невозможной всякую позу. В этом отношении, как и в других, Сережа задавал тон и был самым чутким, но он же старался проникнуть во внутреннюю жизнь каждого из нас младших. Он был на 11 лет меня старше, и, конечно, внутри я почитал его и он был для меня авторитетом. Однако, попробуй он навязать мне этот авторитет внешним путем, – из этого ничего бы не вышло. Гонору было у меня, хоть отбавляй, с раннего детства. Он все это отлично понимал и подходил ко мне умеючи. Благодаря этому он сыграл огромную роль в моем развитии.

Когда я поступил в III класс гимназии, Мама уехала в Крым, куда после свадьбы отправились молодые Осоргины. Я был оставлен на попечение Сережи. Я сразу натолкнулся на грубые нравы и грубые разговоры и, возвращаясь домой, повторял иногда ужасные слова, смысл которых не понимал. Сережа понял, что меня надо заранее оградить от скверного влияния, и имел со мной один из тех разговоров, секрет коих он унаследовал от Мама. Он расшевелил мою детскую душу до самой ее глубины, он сумел внушить и укоренить во мне сознание святости целомудрия и создать во мне внутреннюю броню против всех покушений в будущем на это святая святых. Это влияние, так же как и облик моей матери, в которой я видел олицетворение чистоты и который я боялся оскорблять, предохранили меня в самые опасные для меня годы от нечистых воздействий и влияний. Я мог быть шалопаем, распушенным, лентяем, порой лгунишкой, я мог слушать и повторять сальные анекдоты, которые были в ходу в

гимназии, но это все-таки не задевало какой-то внутренней моей душевной сути, не вносило органической порчи в душу, ибо она была предохранена броней, созданной во мне Мама и Сережей. Ибо в облике Мама и в словах Сережи чувствовалась не мораль, не педагогия, а святость внутренней чистоты.

Сережа в это время работал над неоконченным юношеским своим трудом о святой Софии и Вселенских соборах. Он иногда читал мне отдельные места оттуда. Видимо, у него была мысль, что тайны, недоступные отвлеченному мышлению, могут быть открыты младенцам. Он с таким серьезным убеждением хотел передать мне свои мысли, что я напрягал величайшие усилия, чтобы понять его, но конечно, мне это было недоступно. После обеда, до приготовления уроков, мы играли с ним в домино, причем за каждый проигранный point⁹ надо было отсчитать 10 подсолнухов. Проигрывал, конечно, всегда я, и мне приходилось отсчитывать несколько сотен, иногда больше тысячи. Замечательно, что я, не готовивший уроков и старавшийся содрать, что мог для заданного, добросовестно отсчитывал эти подсолнухи и мне и в голову не приходила возможность в этом надуть Сережу. И все это потому, что там была педагогия, а здесь игра на равных основаниях.

Сережа воздерживался от всякой «педагогии». Когда нам нужно было чего-нибудь добиться от Мама и мы не рассчитывали на свои силы или не решались приступить к ней, мы подсылали его. И Сережа умел добиваться, умел и любил приставать к ней и побеждать ее отказы, вырывать у нее согласие. При этом он также немножко побаивался Мама, т. е. она импонировала ему, как и всем нам, что не мешало ему, а впоследствии и всем нам, когда у нас прошел внешний страх перед Мама, приставать к ней изо всех сил и находить наслаждение в том, чтобы добиваться от нее согласия на то или другое, о чем мы к ней приставали. Было бы менее весело и приятно добиться ее согласия без приставания.

Помню, как в том же III-ем классе учитель русского языка Рождественский задал нам на Рождество написать святочный рассказ. Я придумал какую-то невероятную ерунду из жизни Индии, и Сережа, безо всякой педагогии, помогал мне придумывать различные подробности. К моему удивлению, рассказ имел успех, и учитель только спросил, самостоятельно ли я его придумал.

И вот этот самый Сережа, наш любимый старший брат, стал женом и уходил из семьи. Его невеста оказалась нам сначала такой чужой и далекой. Как часто бывает в дружных семьях, свадьбы вызывают сначала ревнивое предубеждение против человека, который вырывает из семьи одного из ее членов, притом любимого.

Нам, младшему пятку, Оболенские были совсем чужие, хотя брат Петя¹⁰ женился на одной из сестер, но старшие братья с детства дружили с ними. Роман брата Сережи длился годами, и Паша несколько раз отказывала ему. Как раз когда у нас шло шумное веселье и Сережа ставил свое «Последнее слово науки», ему было всего горче на душе.

Сестры Оболенские рано осиротели. У них была сестра много старше их, от общей матери, но от другого отца. Это была гр. Апраксина, жившая в Петербурге, в свое время известная красавица. Муж ее имел огромное состояние и был флигель-адъютантом императора Александра II-го. Отец их кн. Владимир Андреевич Оболенский был двоюродным братом моей бабушки В.А.Лопухиной, так что сестры Оболенские приходились троюродными сестрами моей матери, хотя были поколения ее детей.

У Владимира Андреевича было четыре дочери. Старшая Соня молодой девушкой сошла с ума и умерла уже при большевиках. Это была вечная забота-обуза, которую свято несли сестры. Кроме нее были три сестры: Паша, Татя и Лиза. Старшей Паше минуло 16 лет, когда скончался отец и они остались полными сиротами. С ними поселилась их двоюродная тетка княжна Аграфена Александровна Оболенская, которую все знали под именем «Тетя Груша». Были даже привычные извозчики, которые знали, кто тетя Груша, и везли к ней. – Иногда к ее имени прибавляли: «бессемянка» – «тетя Груша бессемянка».

Тетя Груша была добрейшее существо и очень добродушное. Она требовала к себе респекта, и все охотно оказывали его ей. Она была почтенным патроном своих племянниц, но, конечно, не могла оказывать на них особенного влияния, она была для этого слишком проста и другого поколения. Племянницы сами себя воспитали.

Старшая Паша имела необыкновенно тонкий, благородный и аристократический облик, как внешний, так и внутренний. Она была болезненна, малейшее прикосновение к спине было для нее мучительно, и она всегда держалась необыкновенно прямо, elle

paraissait raide¹¹. Я слишком привык к ее внешности, чтобы сказать, что это ее портило, ибо, с другой стороны, это так подходило ей. У нее было редко прекрасное лицо, точеное, мраморное, с нежным румянцем, легким пушком и поразительной правильностью и благородством всех линий. Глубокие глаза казались еще больше, благодаря синеве, которой были окружены. Она могла быть привлекательна, как никто, и она же могла совершенно оттолкнуть и заморозить человека резкостью и гордостью. В ней было все обаяние очаровательной женственности, блестящего тонкого женского ума, художественной и музыкальной натуры, с горячим сердцем и страстным темпераментом. И рядом с этим могла быть убийственная насмешливость, ледящее презрение и сокрушающий гнев.

Такая женщина могла или отталкивать или внушать безумную страсть. В ней не было тени вульгарности. Она была цветком аристократизма, и она была аристократкой по убеждению и по плоти, цельная, в крупном и мелочах. Она могла быть очень мила и добра с людьми низшего происхождения, но она органически не признавала их такими же людьми, как она сама, и когда «парвеню» с претензиями пытались с ней завязать более близкое знакомство, то они не могли не чувствовать ее ледящего презрения. Гордость у нее была непомерная. Она ни от кого не согласилась бы ничего принять <...> Она не допускала фамильярности <...>

Но этот внешний облик только подчеркивал прямоту ее характера. Она не способна была покривить душой, не способна была даже удержаться своих резких прямых суждений и говорила их прямо в лицо людям. Она могла быть крайне бестактна, оскорблять людей, но если она кого-нибудь любила, то также не умела любить наполовину, но со всем пылом своей души. Она была первоклассная музыкантша. Она не любила играть в большом обществе и вообще для других, но делала это для немногих, кого любила, и в музыке выражались все обаятельные стороны ее характера – женственность, благородство, тонкость, блеск и темперамент. Она была исключительно образована и могла разделять все философские и религиозные интересы своего мужа. При этом она обладала тонким критическим чутьем и была незаменимым для него цензором.

Такую обаятельную и исключительную со всеми своими качествами и недостатками женщину полюбил мой брат, и ему не скоро удалось победить гордую красавицу. Во многих отношениях он был совершенно другой человек.

Внешней гордости, внешнего аристократизма в нем не ночевало. Он относился с полным равнодушием ко всему, что отвечало аристократическим вкусам и оценкам предмета его любви. Насколько она была резка и gaide, настолько он был воплощенная мягкость, человечность и деликатность. Его шутки и остроумие, несмотря на весь свой блеск, также могли коробить ее аристократизм. Наконец, он не имел средств, и в будущем не мог удовлетворить тем представлениям о подобающем *train de vie*¹², которые у нее были. Словом, вся внешность была против него.

Но мой брат был еще гораздо более исключительный человек, еще более существом высшего порядка, чем она. Это была такая высокая чистая душа, и его жизнь была непрерывным духовным полетом, он был так обаятелен, талантлив, умен, обладал такой художественностью, остроумием, живостью, отзывчивостью и добротой, что его нельзя было не любить, и нельзя было не почувствовать счастья быть им любимым. В нем был высший духовный аристократизм, утверждавшийся вне и выше всяких сословных перегородок и предрассудков. Его чистота и благородство коренились выше. Если гордости в нем не было и не могло органически быть, то в нем естественно и просто, сама собою, сказывалась хорошая кровь, и конечно недаром он был потомком рода, связавшего свое имя с историей России. Может быть, высший аристократизм и требует именно того, чтобы все это было и чувствовалось само собой, без стараний и внешнего доказательства.

Свадьба не легко далась моему брату. С характером Паши ей трудно давалось сближение с семьей своего жениха, и бедной Мама, которая так исключительно любила Сережу и так хотела любить его будущую жену, пришлось, можно сказать, выстрадать это сближение раньше, чем оно состоялось. Конечно, и Сереже, для которого обе они были дороже всего на свете, приходилось не легко. Характер Паши был с надрывом, и счастье их было более сильное, чем спокойное. Но для такого, как он, незаурядного человека, нужна была и незаурядная жена, и такой, конечно, была Паша. Можно сказать, что оба они не останавливались в своем духовном росте, и у нее с годами все сильнее росло к нему чувство, особенно, когда она сознала, как приходилось беспокоиться за него. – Беречь себя – этой мысли он не допускал, когда дело шло о служении Богу, родине и лю-

дям, и она, как бы остра ни была у нее тревога за здоровье мужа, была слишком самоотверженной и героической натурой, чтобы не поставить долг выше всего.

Кроме трудностей психологических, у Сережи была другая мучившая его забота, связанная со свадьбой. Он был слишком церковный человек, чтобы легко обойти каноническое запрещение двум братьям жениться на двух сестрах. Его мучило сознание, что он нарушает канон, установленный Церковью, и он не легко победил свои сомнения. Его совесть успокоило другое древнее церковное постановление, которое он вычитал в церковных актах: разрешение ввести в церковь стадо, застигнутое бурей в поле, если рядом нет другого помещения. Если из сострадания к бессловесной твари Церковь позволяла нарушение святости помещения храма, то неужто нельзя рассчитывать на милосердное снисхождение ее к формальному нарушению канона в таком важном случае, когда идет речь о судьбе двух человеческих существ, ищущих ее благословения своему союзу... Закроет ли она им свои двери, когда они в них стучатся...

В то время на правильность канонических условий при совершении брака смотрели вообще гораздо строже, чем впоследствии, когда, по циническому замечанию еп. Антония Храповицкого, бывшего членом Синода (ныне митрополита), «если нам черного борова прикажут обвенчать, так мы и его обвенчаем» (писано в 1925 г.). Поэтому решили венчание сделать в тесном семейном кругу, в Сергиевском, и пригласить для совершения его священника Киевского Гренадерского полка. Полковые священники не были подведомственны местной епархиальной власти, и потому вообще легче относились к каноническим неправильностям.

«Самых близких» было, однако, достаточно много, чтобы наполнить весь поместительный сергиевский дом. Свадьба состоялась в начале октября. Кроме всей нашей семьи, были Самарины (дядя Петя и тетя Лина), сестры Оболенские, тетя Груша, Василий Васильевич Давыдов, который был посаженным отцом у Паши, ее двоюродная сестра и самый большой ее друг Груша Панютина, преданный Оболенским кузен, Сережа Озеров, шафер Паши, и, наконец, свежеиспеченный студент Боря Лопухин, только что приехавший из Орла, сентиментально и благонравно самодовольный и пристававший к «кузиночкам» и «тетичкам», вследствие чего тетя

Лина Самарина клокотала и еле переносила его. В сергиевском доме на три дня почувствовался «клан Оболенских», противопоставленный семье Трубецких.

За час до свадьбы прибежал взволнованный брат Женя с известием, что священник вдруг в церкви разыграл сцену терзания совести, как он будет венчать такой неправильный брак. Решили, что для успокоения его совести требуется прибавки 100 рублей вознаграждения. Узнав, что полковой священник ломается, старый заштатный священник Сергиевской церкви заявил, что он будет венчать, если тот откажется. Оба аргумента оказали свое воздействие, и совесть полкового священника успокоилась. Этот неприятный инцидент был скоро забыт. Я в первый раз был шафером на свадьбе и должен был держать венец над Пашей, потому что по росту это мне было легче, и мне было обидно, что Сережа Озеров не давал мне держать венец, как следует.

После свадьбы молодые уехали через Москву за границу. Я ехал тем же поездом, порученный попечению В.В.Давыдова, который возвращался в Москву. На какой-то станции мы зашли к ним в купе. Паша лежала в гамаке и поразила меня своей хрупкой красотой <...>

* * *

Живал я также у брата Сережи, и пребывание у него имело большое влияние на общее мое развитие и направление моих интересов. В начале 1890 года он выпустил первый свой большой труд: «Метафизика в Древней Греции». Печатание этого труда было большим семейным событием. Корректуры держала Мама. Ее способность всецело отдаваться увлечению данной минуты сказалась тут со всей силой. Мама прямо жила этой книгой, впивала в себя каждую страницу. Это были, поистине, какие-то духовные роды. Вся ее жизнь была полна этим, и когда работа кончилась, для нее было тяжелым переживанием оторваться от интереса, который всецело захватил ее.

Теперь уже 36 лет прошло с того времени, как вышла эта книга. И как давно уже нет в живых тех, кто близко принимали к сердцу ее появление. И я, тогда едва начинавший мыслить птенец,

остаюсь теперь один из последних и, переживая прошлое, измеряю пройденную жизнь и думаю о том недалеком свидании, которое воскресит для меня этих близких.

Во внутреннем росте Сережи «Метафизика в Древней Греции» обозначила пору духовной возмужалости. Когда его знаешь так близко и хорошо, как, мне кажется, я его знал, то в этой книге проступает весь он как живой, и обидно, что другие не могут увидеть его таким же живым и что для них это просто книга, а не то живое, в чем мне светится его душа.

Прежде всего «Метафизика» – серьезная научная работа, потребовавшая большого пристального труда. Все, что могло дать тщательное самостоятельное изучение текстов, археологических изысканий, последних трудов, ученых историков и философов, – все это легло в основание его работы, в которой он был вооружен трезвым критическим чутьем и полной самостоятельностью суждения.

Объективности и добросовестности исследователя несколько не противоречило определенное и целостное мирозерцание, которым он был проникнут и которого он не скрывал, как свой *standpunkt*¹³, как основной критерий непонимания, применяя его и в данном случае. Молодая честность мысли побуждала его даже с самого начала выложить основы того мирозерцания, которое легло в основу его исследования. Технически это было недостатком молодости, ибо нельзя на протяжении менее 50-ти страниц введения обосновать свой философский подход к избранной теме, но для меня, которому сквозь призму книги дороже всего живой человек, этот недостаток понятен и дорог как выражение крайней искренности. Если Бог даст мне силы и времени и у меня будут материалы под рукой, я бы мечтал попробовать дать характеристику общего религиозно-философского стимула жизненной задачи обоих братьев. Конечно, для этого нужно было бы иметь общее философское образование, которого у меня нет. Зато я чувствую ту внутреннюю близость к ним, которую не имеют другие и которую не могут заменить другие методы постижения.

Самый выбор предмета для своего первого большого труда, в качестве магистерской диссертации, был сделан Сережей далеко не случайно. В греческой философии был для него ключ для основных проблем философии, религии и истории человечества. Он изучал ее как своего рода Ветхий Завет христианского откровения и прида-

вал особое значение оценке Св. Иустина мученика, который называл Сократа и Платона христианами до христианства. Изучить все, что могло дать человеку естественное откровение, все, до чего могла дойти вершина самой совершенной языческой культуры и гениальной человеческой мысли и прозрения, предоставленные себе самим, показать, какое место в истории заняли эти искания и достижения, как с высшей логической необходимостью они должны предшествовать пришествию Спасителя, – все эти стимулы налицо в этой книге, хотя и не все высказаны. Но та же красная нить проходит через следующий труд Сережи, появившийся через 10 лет после первого, – «Учение о Логосе в его истории». Вместе с тем, греческая философия в своем примитивном цикле завершила весь повторяющийся круг человеческого мышления, выдвинула все вековые проблемы философии, материализма, скептицизма, нигилизма, идеализма, мистицизма и, наконец, эклектиков. Эти проблемы варьируются, углубляются, развиваются в новые акты драмы человеческой мысли, но вечно повторяются в своей основе, отвечая неизменным стимулам человеческой души и природы, и потому для основательного философского образования древняя философия представляет незаменимое опытное поле, как, в то же время, и необходимый исторический первоисточник.

Вместе с тем, все эти философские системы только условно получают клички отвлеченной терминологии. Каждая из них воплощает жизненную драму своего творца, у нее есть свои плоть и кровь, и задача историка воссоздать художественный ее образ. Это отвечало всем запросам и таланту Сережи, и высшего достижения <оно> достигло в духовном образе Сократа, который является вообще гениальной синтетической фигурой древней философии.

Припоминая свою юность, могу сказать, какое глубокое поворотное влияние в моем внутреннем духовном и нравственном развитии имел облик Сократа. Может быть, ни одна книга в жизни не оказала на меня такого влияния, как книга Alfrède Fouillée: *La philosophie de Socrate*¹⁴, которую дал мне прочесть Сережа. Он сам очень высоко ценил ее. Я хотел бы проверить свое впечатление: отвечала ли эта книга тогдашним общим моим настроениям, или она действительно является таким прекрасным возбудителем духовных и философских запросов для пробуждающегося юношеского мышления.

В моем дневнике того времени подробно записаны были все перипетии диспута Сережи. К сожалению, дневник этот, как и другие бумаги, оставался в шкафу в Васильевском и, конечно, погиб во время пожара. Мне не жаль дневников, но жаль некоторых страниц, как те, на которых я заносил, стараясь быть точным, то, чему был свидетель. Помню успех диспута, слабые, как мне казалось, возражения оппонентов, что и не мудрено, ибо трудно, особенно в России, найти двух специалистов по одному и тому же предмету, и часто оппоненты мучаются необходимостью найти серьезные возражения в вопросе, к которому мало подготовлены. Помню также трогательное волнение брата Жени, который интенсивно переживал за Сережу, все подробности диспута.

Если не ошибаюсь, осенью 1890 года Сережа с семьей уехал в Берлин и там провел всю зиму. Эта зима была полна для него самого живого интереса. В это время были еще живы и процветали такие столпы науки, как Курциус¹⁵, Моммзен¹⁶, Дильс¹⁷. Сереже удалось не только познакомиться с ними, но и войти и сблизиться с этим обществом. Иногда он слушал их лекции. Всего более заинтересовало его знакомство с Гарнаком. Интересы его всецело разделяла Паша, которая знакомилась с женами ученых и профессоров, которые, впрочем, были не так интересны, как их мужья. От того времени сохранились интереснейшие ее письма и более редкие письма Сережи. В Берлине он со свойственной ему чуткостью вдыхал в себя атмосферу западной науки и просвещения, проверял свои прежние выводы, сохраняя вполне независимую оценку новых впечатлений. Поездка в Берлин была для него как бы завершением духовной и культурной возмужалости <...>

Сестра Марина

<...> Незаметно катятся дни, похожие один на другой, но полные своего интереса для каждого из молодежи, для которой в эти годы роста один месяц не похож на другой и все меняется – словно незримое наливание колоса в поле. Незаметно подходит дело к 17 августа. В этом году (1894) Марине в этот день минет 17 лет – девичье совершеннолетие младшей общей любимки. Готовится большое торжество. Ожидается съезд всех гостей. Дядя Петя с

циркулем в руках на полу террасы чертит и вырезает огромный транспарант, будет фейерверк. Раскладывается огромный стол в саду, звенят бубенчики с подъезжающими гостями. Нет незаполненного угла в доме. Только Лиду Лопухину оставляют в покое в ее апартаментах, но к ней бегают поминутно сообщать последние новости, и она с улыбкой их слушает и постепенно диктует мне длинное письмо своей сестре тете Эмили Капнист с описанием хода событий, пересыпая их своими словечками, которые мы все так ценим. В них дается добродушная характеристика действующих лиц, и каждый хочет прочесть, что про него написано. Папа утром приехал из города, куда постоянно ездит по делам больницы и Института, – где летом обычно производится ремонт, за которым он наблюдает. Он читает газеты у себя в кабинете или возится в цветнике, в чесунчевом или бледно-зеленом полотняном сюртуке, который у него существует с незапамятных времен. И то и дело идет к Мама обо всем с ней советоваться и говорить. Неизменное благодушие старших, и такое спокойствие и беспечность нас детей, под их крылышком и с переложением на взрослых всех ответственных решений. – А для нас беззаботное веселье. Конечно, не одно это настроение. У каждого из нас свои вопросы и запросы, подчас сложные, с которыми мы уходим уединяться в сад и лес. Всегда с весны целая программа на лето. То-то сделать, прочесть, передумать, изучить. Конечно, программа эта остается мало выполненной, но все же не одно благодушие и безделие наполняют жизнь.

Марина сияет в день своего рождения, получая ото всех заранее обдуманнные подарки, чувствуя, что все ее любят и что хорошо жить на свете, и заливается от беспричинного смеха, после чего я всегда ей кричу: «Звонче и беспечней», – и она опять смеется. Конечно, приехал Николай, но кроме него еще толпа двоюродных братьев и молодежи. Шум, гам, всем весело. За обедом окрошка, цыплята, мороженое, ланинское шампанское и многочисленные тосты. Когда темно, зажигается иллюминация, великолепный транспарант и фейерверк. Из деревни пришел народ в сад, и раздаются типичные подмосковные песни: «Щука-рыба плыла в море, А я девушка в неволе», с неподражаемыми вторыми голосами. Приехали и старшие братья, Женя от Щербатовых, где проводит лето с семьей, Сережа с Пашей, которые наняли дачу в нескольких верстах от Меньшово.

Проходит лето. В Меньшове остаются Папа, сестра Ольга, которая занята пристройкой к дому двухэтажного помещения, где устраиваются улучшенные удобства вместо прежних весьма примитивных и где Ольга устраивает еще специальную «больничную» комнату с «койкой» на случай холеры. Она оклеивает комнату различными изречениями и правилами, которыми ее дразнят. Над дверью <поговорка> «береженного Бог бережет». Я сочиняю воображаемую проповедь акулининского батюшки, когда его позовут освящать помещение с «удобствами». Батюшка говорит высоким фальшивым фальцетом с большим чувством, и я хорошо подражаю ему.

Мама с сестрами и Мариной уехали в Ялту к Самариным. Туда же, в Крым, поспешил, конечно, Николай. Оттуда приходят восторженные письма Мама, влюбленной в море, камушки, небо и солнце. И в этой лазури быстро наступает развязка романа – Марина становится невестой. Хотя это могло быть всего менее неожиданным, Мама озабочена: ей всего 17 лет, а ему 20 лет, он студент III курса, все это рано слишком, и хотелось бы попридержать. Но ничего не поделаешь. Решено только ждать год или два, но удастся ли столько ждать с бурным Николаем, которого земля не носит! Родители его счастливы, они любят Марину и, главное, обожают своего Николая, ни в чем не могут ему отказать и так рады счастием своего первенца. А в письмах из Крыма чередуются – поездки в Ореанду, Массандру, Лестничество, закаты солнца, переливы моря и песни любви... Марина – невеста! Это трудно осознать. Для нас она младшая, еще ребенок, и всем она так близка, а ее отнимают от нас. И возникает семейная ревность, и даже не всегда благожелательное чувство к Николаю. Достоин ли он нашей Марины... – У меня, который особенно близок с нею, уже давно острая братская ревность. Я порою не переносил Николая, его частых посещений и того, что он чувствует себя у нас, как у себя дома. Это мешало немного дружбе и товариществу. Я отдаю себе отчет в том, что его винить не за что и что я должен быть рад за Марину, но мне это трудно. – Кому скоро это становится более чем трудно, кто прямо страдает – это Мама. Она так жила с Мариной, так следила за каждым ее шагом и теперь начинает чувствовать, что совершенно неизбежно, при всей своей любви и близости к Мама, Марину охватывает чувство, которое все же отделяет ее, потому

что у нее другой центр тяготения. Она другими, его глазами начинает смотреть на многое, он линияет на нее. По-прежнему Марина любит Мама, может быть еще сильнее; по-прежнему поверяет свои невинные тайны, ищет поддержки, но для того, чтобы она научила ее, как лучше войти в его жизнь, стать одно с ним. Она идеализирует своего Николая, видит в нем все совершенства и сознает себя недостойной его, а в душе Мама настоящая глубокая драма. Она не может не быть счастлива за Марину, но не может, конечно, разделять ее ослепляющего увлечения. В Николае она видит милого чистого мальчика, которого полюбила, но не может заставить себя видеть в нем исполнения всех совершенств. Наоборот, материнским сердцем она прозревает опасности слишком раннего брака с мальчиком, не перебесившимся и у которого еще столько соблазнов впереди. И в той же мере она, конечно, видит превосходство Марины, но боится за ее чрезмерную способность к самоотвержению, радостную готовность распластаться перед тем, кому отдалась раз и навсегда, без всякой мысли и политики и желания подчинить себе будущего мужа. На это Марина не способна. Она всю себя отдает без счета и расчета, беспрекословно, без условий и требований, с осознанием, что она ничто, а он все, и что он делает ей великое счастье, избрав ее женой. Такой Марина родилась, выросла, такой стала невестой и женой – на всю жизнь. Но, отдав свою жизнь мужу, она не могла измениться в духовном облике, и она осталась с той же ясной, кроткой, любящей младенчески чистой душой, с какой-то высшей мудростью, которую получила в дар от Бога. . .

Брат Сережа, ее крестный отец, как-то сказал про нее, что она из тех малых сих, про которых Господь сказал, что «ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного».

Милая, милая Марина! Как она была прелестна и светла своим счастьем. Как они были милы вместе. Какая красивая юная любовь несла их на своих крыльях! – Конечно, не выдержали ни двух лет, ни одного года и венчались 2 июля 1895 г. в церкви Рождества Богородицы в Кудрине – приходе Гагариных, в ясный солнечный день, после чего уехали в Меньшово, дорогое им обоим.

Примечания

- ¹ *Трубецкой Г.Н.* Облики прошлого (Машинопись. С. 1–275. Хранится в семейном архиве Трубецких).
- ² Там же. С. 74–75.
- ³ Там же. С. 86.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Ошибка. Князья Трубецкие принадлежат к выходцам из Литвы рода гедиминовичей.
- ⁶ Памяти кн. Гр.Н.Трубецкого: Сб. ст. Париж, 1930. С. 25–26.
- ⁷ *Бердяев Н.А.* Философия неравенства. М., 1990. С. 133–134.
- ⁸ *Платон.* Соч.: В 3 т. Т. 3. Ч. 1. М., 1971. С. 347.
- ⁹ Пункт, очко (*англ.*).
- ¹⁰ Петр Николаевич Трубецкой – сводный брат философов Трубецких, сын Николая Петровича от его первого брака.
- ¹¹ Она казалась жесткой, непреклонной (*франц.*).
- ¹² Образ жизни (*франц.*).
- ¹³ Точка зрения (*нем.*).
- ¹⁴ «Философия Сократа» – книга французского философа-эклектика Альфреда Фуйе (1838–1912).
- ¹⁵ Курциус, Эрнст (1814–1896) – историк, специалист в области истории Древней Греции.
- ¹⁶ Моммзен, Теодор (1817–1903) – историк, юрист, филолог, специалист в области истории Древнего Рима, лауреат Нобелевской премии по литературе.
- ¹⁷ Дильс, Герман (1848–1922) – филолог-классик и историк философии.

Публикация и примечания А.В.Соболева